

Грех такое говорить, Хайдар, но не любила я свою племянницу Гульбадиян. За прялку вовек не усадишь, а конину и напеченный матерью хлеб лопают, что твои перегонщики скота.

Я в ее годы в сторону маминых запасов и не смотрела, а Гульбадиян то заправленный маслом красный творог выпросит, то от листа пастилы широкую ленту оторвет.

Мать и рада. Как же, последний балованный ребенок. С малолетства в шелковых, расшитых бисером елянах щеголяет. Спит на мягких ястыках. Два дела у нее – лакомиться и слушать сказки.

Кто же знал, что именно мне придется утешать Гульбадиян в тяжелый час! Айбика-апай, правда, по-другому сказала:

– Танхылу, наставь эту девчонку на ум. Только ты и можешь помочь.

– Как же, – говорю, – сестра?

– Расскажи ей, каково это – так и не пойти замуж.

Я в тот час выкладывала сыр корот на просушку, а сестра стояла подле, нависала горой. Ох, Хайдар, ты же не знаешь, какой стала наша Айбика за тридцать с лишним кочевий. Из самой красивой девушки в роду с кожей нежной, как сметана каймак, со станом тонким, как дерево калина, обратилась в широкую мать-медведицу. И характер под стать! Коль что нужно ее детям, будет грызть, рычать и биться. Я же, весь век прожив при них с Иргали-езне приживалкой, и вовсе не смею ей ни в чем отказать. Но как вести разговор с капризной племянницей о самом непростом в своей судьбе? О том, что и себе объяснить не могу?

Робко смотрю на старшую сестру, а она вдруг оседает рядом:

– Ай, Танхылу-хенле, не хочет она идти замуж за Гаяза. Все льет слезы по своему Гайсе. Твержу ей: из века в век наши бабки, погибни жених на охоте или в бою, шли в жены к их братьям, рожали им сыновей, проживали большую достойную жизнь. Калым-то от семьи жениха давно уплачен. Люди добрые. Ее знают и любят. Гаяз холост: не второй, не третьей женой ее берет. Нет, говорит, не желаю, останусь невестой Гайсы, не надо мне никого. А твой Иргали-езне тоже уперся: не хочет возвращать по-

лученных коней и овец, да еще и с приплодом. И я между ними как между двух огней.

Я глаз больше не поднимаю, смотрю на аккуратные шарики корота.

– Но не зря вся округа твердит о моей смекалке, – продолжает Айбика-апай. – Поняла я: нужно разъяснить Гульбадиян, что ее ждет, останься она в девках. А кто тут лучше справится, чем ты? Ведь непросто тебе пришлось? Подтирать носы сестриным детям и так и не понянчить своих? Валять узорные войлоки, да не себе в приданое?..

Молчу.

– Поговоришь с Гульбадиян? – голос сестры звучит чудно. К привычному тону байской жены добавляется толика просительности.

Киваю.

Поговорить не значит убедить, Хайдар.

2

Беру мешочек, иду собирать лещину – зимой кстати придется. Не могу оставаться среди темных юрт осенней стоянки Иргали-езне. Остаться среди людей. Вдыхаю запах вымоченной дождями земли, прислушиваюсь к шепоту леших-шурале. Думаю о женихе нашей Гульбадиян. Что я помнила о нем?

Был тремя днями старше своей невесты. Оба родились в середине лета, такого же засушливого, истомившего жаром, как и в этом году. На сороковой невестин день их положили в одну колыбель – пообещали друг другу. Сколько бешбармака мы в тот день наварили – угощали чуть не всю даругу.

Гайса вырос одним из первых танцоров и кураистов среди егетов. Ни разу не появился на моих глазах один-одинешенек, всегда в окружении дружков и обожавшей его малышни. Замолкал, кажется, только при отце и буду-

щем тесте. Но и при них с трудом прятал бедовый блеск своих крупных темных глаз.

Видались они с Гульбадиян на свадьбах, йыйынах и посиделках. В кыз-куу племянница не участвовала. Не хватало еще взбираться на лошадь, мчаться куда-то, потеть. Вместо этого плыла, закутанная в красный кушъяулык, звенела хакалом, слушала сэсэнов. И Гайса тут как тут, гордится нарядной невестой. Не оттого ли Гульбадиян была так размеренна, не стеснялась отставать от сверстниц в работе, не боялась преждевременно растолстеть, что у нее всегда, сколько себя помнила, был веселый богатый жених?

Ой как я разозлилась, когда учила ее валять войлок, а она мне: «У того, кто не знает, как взяться за дело, и руки лишний раз болеть не будут, тетушка». Не робеет, смотрит с лукавством, не нужно ей быть более расторопной, чем другие девушки. Да что я? Не нужно было еще год назад.

Думали мы: от истока Ика до истока Ая нет счастливее девушки, чем Гульбадиян. А потом по рыхлому снегу в небывалую для местных зим оттепель приехал Гайса – прощаться. Белый царь позвал башкир не просто на порубежье – к этому они были привычны. На этот раз наши раскосые крепкие парни, дети степных войн, лучшие лучники и мастера джигитовки, должны были отправиться за пределы страны.

Потом мы узнали, что им достался только один бой, первый бой башкирской конницы с французским войском, сразу после был объявлен мир. Но царь еще и похвастал своими башкирцами перед прежним врагом – императором! Наши егеты показали ему, как они метки: на скаку целились в брошенную на землю шапку и превратили ее вежа, оцетинившегося иглами стрел. Но среди тех ловких егетов уже не было Гайсы. Полко-

вой мулла после их единственного боя прочел над ним суру «Ясин».

Трясу лещину. Я немолода, но еще могу тянуться к высоким веткам. Думаю о своем женихе – о тебе, Хайдар. Помнишь ли ты, когда мы впервые увидались?

– Кызым, ну-ка спрячься! – сурово велела мама, вернувшись с мужской половины юрты. – Нехорошо девушке показываться из-за шаршау!

– Но ведь гости, гости, мама! – не могу сдержать радости. – Всю летовку ни одного нового лица не видали, а тут сразу столько! Кто тот хитрый дядька в бархатном еляне? А черноусый егет с ним?..

– Черноусый егет! И как углядела! Не оберешься стыда с тобой! Давай лучше взбивай кислый катык с водой – подадим гостям айран. Достаточно ли у нас ключевой воды?..

– Так я еще с утра натаскала! – берусь за кадки, привычно войдя в роль завидной, рукастой девушки на выданье. Но стоит маме скрыться с женской половины (понесла гостям разваренную жирную баранину), как я уже у шаршау, высовываю свой нос. На пожилых, важно рассуждающих о чем-то мужчин смотреть неинтересно, а вот парнишка кажется немногим старше меня. Держится почтительно, глаза долу... Ха! Все-таки сквозь густые ресницы поглядывает вокруг. Я сразу это поняла – сама так всегда делала, когда оказывалась среди старших. И тут ты посмотрел на меня! Сердце ухнуло, я на миг замерла, не в силах отвести взгляд, а потом задернула шаршау. Каков!

Бросилась взбивать катык с ледяной водой, щеки горели, понимала: ох, накажет меня Аллах за такое бесстыдство, но терпеть не было мочи.

– Оласай! А оласай! И ты мне не расскажешь, кто к папе приехал? – обращаюсь к бабушке, которая тут же прядет верблюжью шерсть.

– Ох, цыпленочек мой, – бабушка была ласкова. – Знаю, к чему ты клонишь, но про гостей этих и про черноусого егета и думать забудь. Никогда отец не отдаст тебя за него. И не в том беда, что он Шавкат-баю не сын, а воспитанник. Бай богат, тысяча коней в его табунах ходит, калыма не пожалеет. Но парнишка тот – Хайдар Хамзин, сын Хамзы, что воевал с муллой Габдуллой против солдат русской царицы. Хамза погиб, братья его бежали в казахские степи, но, говорят, и их обстреляли урусы. Сына взял на воспитание побратим Хамзы – Шавкат-бай.

– Так в чем беда, если он ему как сын и коней у них без счету?

– Так этот егет в свой черед тоже возьмет в руки меч. Может, прямо сейчас с твоим отцом о том толкует.

Я была не глупа. Я слыхала песни сэсэнгов и разговоры взрослых. Знала, что русские заживо жгли бунтовавших башкир, запретили сходы-йыйыны и растили нам ясак. Конечно, если в тебе достало мужества, ты должен был взять в руки меч. Конечно, думать о тебе было нельзя. Зачем готовиться во вдовы, еще не став женой? Но сердце стучало, сулпы звенели, айран пузырился твоим именем – Хайдар.

Тридцать с лишним кочевий назад я думала: от истока Ика до истока Ая нет девушки счастливее меня. Доброта моего отца оказалась больше его страхов. Когда явились сваты от Шавкат-бая, меня пообещали тебе в жены. Лишь одно условие выставил атай: провести никах не раньше, чем государь Петр Федорович окажется на троне и никто не сможет отнять у башкир наши земли, веру и закон. Шавкат-бай сперва прищурился, потом кивнул. Отцы и дядья толковали о калыме и приданом, угощались мясом и медовухой, но нет-нет да и гремели про жалованье для служащих башкир и оброк для иблисов с заводов.

А мы с тобой по тогдашней суровости нравов не успели перемолвиться и словом, только поглядывали друг на друга сквозь густые ресницы. Вскоре ты умчался к абызу Кинзе в Берды. Был при нем все долгие месяцы бунта, объехал все четыре башкирские даруги с его посланиями, лишь по пути оказываясь в родных степях, и исчез без следа на вторую осень. Я по сей день не знаю, прочел ли мулла над тобой суру «Ясин».

3

Иду к темному теплу юрт. Мне надо поговорить с этой девочкой, с Гульбадиян. Мне стыдно, что я не сделала этого раньше. Собираю ей все, что она любит: кусочки вяленого гуся, кольца жирной конской колбасы, ломти напеченного утром хлеба, медовый чак-чак. Собираю собственные сокровища: каждую встречу с женихом, утешения родителей, лечащее наступление весны, песни заезжих сээнов. Боюсь, Айбике-апай не понравится то, что я хочу сказать ее дочке.

Первое, чему дивлюсь – Гульбадиян не тянется к еде. А ведь с малолетства это была ее первая радость. До сих пор помню ее крохотной девчушкой с утиной ножкой в руке. Объясняет сама:

– Поела в этой жизни вкусного. Аллах решил: будет, попотчевали. Пора к другому привыкать.

– Как не стыдно такое говорить! Скажи: «Раскаиваюсь! Тауба!», – требую я. А сама дивлюсь второму – глазам. Я и не помнила, что они у Гульбадиян зеленые, как ил. Иргали-езне из рода Айле, у них светлокожих и светлоглазых много, но цвет глаз его дочери много лет было не высмотреть за широкими, старательно наеденными щеками. Это лето выткало ей новое лицо, на котором нельзя не увидеть ярких глаз. Слезами она их отмыла, что ли?

– Мама и тебя переубедить меня прислала? Хотите, чтобы поменяла одного жениха на другого, будто пару серег? – воинственно начинает Гульбадиян.

– Ай, кызым...

Ведь придумала, что сказать ей, Хайдар. Всю свою жизнь на одну нитку собрала. Поняла, на каком крепком сукне она шьется. Но смотрю на Гульбадиян: кожа нежная, как сметана каймак, глаза горят, как костры пастухов летними вечерами, голос звонкий, почти как у той девчушки с утиной ножкой в руке... Не хочу я ей добротного сукна. Пусть будут бархат, бисер, кораллы и мониста.

– Кызым, ведь и я потеряла жениха тридцать с лишним кочевий назад. Страшное было время: бунт, кровь, виселицы в аулах...

– Знаю, – переходит на шепот Гульбадиян.

– Пропал мой Хайдар, когда было сготовлено все приданое, когда я уже не робела смотреть ему в глаза, когда знала, верила, что моя судьба – рожать похожих на него детей. Потом не могла и думать, чтобы пойти за другого.

– А тебя звали? – не верит молоденькая девушка, глядя на седую тетку.

– Звали. Твой отец как-то подарил своему приятелю узорный подседельник, который я валяла. «Кто такой мастер?» – удивился тот, попросил показать что-то еще. Иргали-езне достал молитвенный коврик, рассказал обо мне... А друг возьми да и посватайся! Тем только и спаслась, что твоему отцу и самому нужна была моя работа. «Лошадь – слава, овца – богатство», – его слова, сама знаешь. А так нипочем бы не отказал другу...

«Спаслась!» Так мне никогда не переубедить Гульбадиян.

– Не желая идти замуж, я прослыла блаженной-дивана на весь род. Твой отец с матерью могли поручать мне любую работу, ведь это им предстояло кормить меня. Молодые невестки глядели с жалостью. Племянники

не больно-то привязались... Нет-нет, я не в упрек, я про другое. Ты не знаешь, да и никто не знает, не помнит, что моим любимцем был твой старший брат Ильмурза. Он только родился, когда меня из сожженного отцовского аула привезли к вам. Я радовалась его агуканью, первым шагам, сильным ладошкам, державшимся за мой кулдэк. Но только мы посадили его на коня, он и думать про меня забыл. Позволял себя кормить, но сам неотступно следовал за вашим отцом.

– И вот это – самое страшное? Не привязавшийся к тебе мальчишка?

– Самое страшное – это ни с кем не делить свою жизнь. Пока ты этого не чувствуешь: рядом отец, мама, братья, незамужние подруги... Но пройдет десять, пятнадцать кочевий, и радость от наступившей весны, от предстоящей «Вороньей каши» будет только твоей. Слезы, мечты, желанья – все будет только твоим. Мамы не станет, у подруги захворает ребенок, братья уедут на ярмарку... Не к кому будет побежать с самым важным, по-настоящему заветным.

Гульбадиян хмурится и, не глядя на меня, подхватывает с тустака крохотное солнце медового чак-чака.

4

Я не соврала ей ни в одном слове, Хайдар. Но не думай, что я сомневалась в своем выборе, что хоть на миг помышляла о браке с другом Иргали-езне. Даже имени этого мужчины вспоминать сейчас не хочу.

Лучше вспомню тот зимний день, когда ты заехал к нам по дороге в осажденную Уфу. Отец усадил тебя на почетное место, задал столько вопросов, сколько травинок в стоге сена, накормил так, будто ты больше никогда не увидишь человеческой еды. Грозно поглядывал, когда я показывалась из-за шаршау, а потом все-таки отпустил

нас погулять. Мы шли молча, я не смела поднять глаз и все думала: «Муж. Мой будущий муж».

А ты вдруг набрался смелости и заговорил. О том, как в восемь лет был наездником на скачках, пришел вторым и заработал названому отцу годовалого жеребенка. О том, какой веселой и смелой я тебе показалась, выглядывая из-за шаршау. О Бердах, съехавшихся туда башкирах и почему-то много об одном из них – сыне старшины Шайтан-Кудейской волости. «Он пишет стихи и песни, Танхылу. Вот, я запомнил для тебя», – сказал ты.

Намело снега, ноги тонули в сугробах, гасли сумерки. Я старалась не забыть ни одного слова:

Над простором седых ковылей

Полночь лунная тихо плывет.

В перелеске поет соловей,

Не пойму я, о чем он поет.

Не о том ли, что солнце-батыр,

Все в кольчуге своей золотой,

В блеске страсти обходит весь мир

За красавицей робкой – луной?

С тех пор минуло больше тридцати кочевий. Я спешу помочь с вечерней едой для пастухов Иргали-езне. На мне справный елян, но я зябну. Это лешие-шурале мелким дождем плачут о веселом Гайсе, плачут об отважном Хайдаре. Бросаю им немного чак-чака – пускай им не придется плакать о балованной Гульбадиян.